

М. А. АЛДАНОВ

ИСТРЕБИТЕЛЬ

РАССКАЗ

ПОСЕВ

1967

М. А. АЛДАНОВ

ИСТРЕБИТЕЛЬ

Рассказ

Посев

1967

Рассказ о скромном советском гражданине,
о Ялтинской конференции, и о том как она
отразилась на его жизни; с художественной
характеристикой трех главных ее участников,
решавших судьбу мира.

Printed in Germany by
Possev-Verlag V. Gorachek. Frankfurt/Main

1.

Этот дворец построил в Алушке сто лет тому назад несметно богатый русский князь. Он хотел создать в Крыму, тогда сплошь населенном мусульманами, дворец в восточном стиле и велел его строить по образцу испанской Альгамбры. Но князь, воспитывавшийся в Англии, поручил постройку знаменитому шотландскому архитектору, и мавританский стиль дворца стал напоминать английскую готику. Много своего внесли также выписанные из Италии многочисленные мастера. И, странным образом, создалось над морем чудо из серо-зеленого камня, не похожее ни на что другое в мире. Ввели ко дворцу по садам гранитные террасы с цветниками и лестницы белоснежного каррарского мрамора. Везде были фонтаны со сквозной резьбой, львы, статуи, саркофаги. Стены мавританских дворов были затканы ползучими розами.

Последняя владелица дворца по каким-то воспоминаниям не любила его и почти никогда в нем не бывала. При переходе к ней огромного крымского майората большая часть мебели была продана. После революции в 150 комнатах дворца распоряжались разные учреждения, во время войны похозяйничали в нем немцы, но все же остались целы и дворец, и волшебные сады, в которых росли кипарисы, магнолии, лавры.

В январе 1945 года по южному берегу Крыма прошел глухой слух, будто скоро должны туда прибыть очень важные особы. Ежедневно стали приходить грузовики с мебелью, посудой, разной утварью. Приезжали новые

люди, для которых у местных жителей отбирали помещения в Ялте, в Алушке, в Ливадии, в Симеизе, в Гурзуфе.

2.

Получил приказание выехать и Иван Васильевич. Он жил у большой дороги в низенькой татарской сакле с плоской глинобитной крышей. Иван Васильевич, мало зарабатывавший одинокий человек, не держал домашней работницы и сам вел свое хозяйство. В сакле у него было то, что испокон веков полагалось у зажиточных татар. Пол был выстлан цыновками, а поверх них у стен узкими ковриками с каймой. Два низких дивана были покрыты кошами. Над одним на ковре вокруг длинного тяжелого кремневого ружья с раструбом и сошкой висели лук, стрелы, широкий нож с деревянной рукояткой, нагайка с серебрянным кольцом, уздечка с тяжелыми кованными удилами. Это осталось как было у татарина. На другой же стене Иван Васильевич в 1937 году, бормоча про себя что-то невнятное, повесил портрет Сталина. Вокруг стола стояли соломенные стулья, на столе были погнувшийся самовар, поднос с толстыми фаянсовыми чашками, чернильница без крышки и самопишущее перо со сломанным рычажком. На большой этажерке, повалившись влево на всех ее полках, стояли собрания сочинений русских классиков и ученые книги: «Психология женщины при свете новых фактов и теорий» профессора Патрика, «Опыт упрощения жизни», «Вокруг Вальденского озера» Торо, «Поэзия и правда мировой любви (В. Г. Короленко)» Ивана Иванова. Были еще технические руководства и оставленный сыном «Гектор Сервадак» Жюль Верна. В этой крепко сшитой книге в красном раззолоченном переплете Иван Васильевич хранил свои сбережения, в расчете на то,

что вору не придет в голову рыться в библиотеке. На правом диване теперь еще лежало Священное Писание. Он был с юношеских лет неверующим человеком. Прежде держал эту книгу под замком: у него бывали разные люди. После смерти сына часто читал Пророков и Новый Завет. С прошлого же четверга больше книги не прятал: теперь ему было все равно.

До обеда Иван Васильевич уничтожал насекомых в садах. Вернувшись к себе, поднимался в хорошую погоду на крышу. Там у него был шатающийся столик со старой подошвой под одной из ножек, выцветшая скамейка и жаровня. На крыше он готовил наливку и раствор парижской зелени, варил овечий сырчик, а когда мог купить мяса, жарил шашлык, — проходившие по дороге старые татары, все приятели, неодобрительно поглядывали на человека, который жарит баранину. В теплое время года Иван Васильевич на крыше и ночевал, подослав под себя кошмы. Перед сном пил чай или, когда бывало грустно, вишневую наливку. Набивал и курил одну за другой легкие папиросы, слушал лай собак и поглядывал на таинственно-уютные желтые огоньки вдали.

— За границей, к крайнему моему сожалению, мне не удалось побывать, — говорил он Марье Игнатьевне в ее последний приезд (до четверга) из Ялты в Алупку, — и уж, конечно, никогда не придется, но...

— Почему это не придется? Буза! — с вызовом перебила его она. — Мы с вами еще съездим и в Париж, и в Лондон. Надо увидеть то, что есть хорошего в закатающейся буржуазной цивилизации.

— Вы, может быть, и увидите. Вы еще молоды... За границей я, повторяю, не бывал, но думаю, что таких видов, как с этой крыши, немного найдется и там: море, снеговые горы, тропические сады! Говорят, князь Воронцов истратил на свой дворец двадцать миллионов ру-

блей. Когда они продавали мебель и картины, то при этом разбазариваньи выручили два миллиона! В известном смысле можно утверждать, что эти люди и довели Россию до большевизма... Впрочем, извините, беру свои слова назад, — с улыбкой добавил он. Марья Игнатьевна не состояла в партии, но очень ей сочувствовала. Он знал однако, что она никогда его не выдаст.

— Вздор! Буза! — сказала она. Марья Игнатьевна была еще ребенком, когда произошел октябрьский переворот, и говорила по-советски. Работала она с молодежью и, немного под нее подделываясь, часто употребляла слова «комса», «задавка», «гвоздь парень», а заведение, в котором получила образование, называла «педвузом». Ему впрочем казалось, что она новые слова употребляет не совсем так, как молодежь. Но и эти и ее другие выражения, «Ясно», «Я вам говорила и повторяю», нравились ему, как нравилось ее миловидное, уже чуть тронутое временем, всегда оживленное лицо.

— «Довели страну до большевизма»! Сказал!

— Беру свои слова назад. Вы, я знаю, довольны революцией.

— Спрашивает!

— Нет, я не спрашиваю. Я только хотел сказать, что с некоторой точки зрения, быть может, именно я избрал благую часть: поселился навсегда в сакле на большой дороге, гляжу на море, на горы, истребляю вредителей, которые могли бы уничтожить чудесные сады и виноградники. Ну и живу.

— Дело не в том, где кто живет, а в том, кто что делает!

— ответила она со своим обычным энергичным выражением в тоне голоса. — Вы работаете классно, выявили себя как спеца и имеете все права на уважение советского коллектива. Нам теперь нужны хорошие работники для социалистического строительства. Не изобраа-

жайте из себя Тургеневского лишнего человека, ваше сиятельство.

Она часто так его в шутку называла и говорила с ним таким тоном, будто он до революции был большим сановником или помещиком. Иван Васильевич не раз слышал и то, что он Тургеневский или Чеховский персонаж. Он и хотел походить на полковника Вершинина, но ни малейшего сходства с ним в себе не находил. «Критики говорят, у Чехова в пьесах ничего не происходит. А у него что ни пьеса, то выстрелы, самоубийства, дуэли, пожары. Вот со мной действительно за всю мою жизнь, ничего не случилось. Революция, войны, так ведь все за меня делалось и меня не спрашивали... Глупости она говорит»... Однако ее слова его не раздражали. Она говорила глупости мило, и ее московский говорок был ему особенно приятен в Крыму, где люди говорили по-русски не особенно хорошо. Порою, когда вид ее показывал, что сейчас она скажет что-то особенное, он даже испытывал легкое волнение вроде того, какое чувствуют в опере меломаны перед началом знаменитой арии.

— Ах, все люди в известном смысле лишние, Марья Игнатьевна.

— От вас только и слышишь, «что в известном смысле» да с «некоторой точки зрения»! Вы верно и влюблялись всегда в «известном смысле». А дело в том, что вам нужно переехать из этой грязной сакли, — сказала она, брезгливо оглядываясь по сторонам. Иван Васильевич покраснел, и от этого его худое, длинное лицо стало привлекательней. Его сакля в самом деле была грязна, да и сам он ходил в заношенной косоворотке и менял белье раз в неделю.

— Если ваше здоровье непременно требует жизни на юге, то надо переехать в большой культурный центр вроде Николаева.

Он не мог ей ответить, что никуда от нее не переедет. Впрочем, думал, что не влюблен в нее, по крайней мере не так влюблен, как полковник Вершинин в Машу.

— Что же я буду там делать? Там ни виноградников, ни, кажется, садов нет.

— В Советском Союзе можно найти работу. Это не капиталистическая страна. Кончится война, вы переедете. Вовсе не обязательно всю жизнь истреблять блох... Хотя, ясно, это такой же почтенный труд как другой и вы себе составили крупное имя в этой области.

Он опять смутился, несмотря на то, что она тотчас смягчила свои слова комплиментом. Иван Васильевич понимал, что она относится к его ремеслу пренебрежительно. Марья Игнатьевна была декоратором, ее до войны приглашали украшать дома отдыха, она читала в Николаеве лекции о Рембрандте и Бродском.

Сам он своего ремесла не стыдился. Иногда по вечерам он писал, опуская самопишущее перо без чернил в чернильницу без крышки. Начал было когда-то набрасывать статью: «Опыт философского подхода к неэстетическим видам труда» и скоро сжег рукопись на жаровне. Писал и о русской литературе заметки, в которых называл Толстого великим писателем земли русской, а Белинского неистовым Виссарионом. Иван Васильевич знал, что он образованнее и, быть может, умнее большинства окружавших его людей; но в написанном виде его мысли казались ему глупыми, и он все сжигал. Говорил себе, что напечатать заметки было бы все равно невозможно и благоразумнее их не сохранять.

Истребителем насекомых Иван Васильевич стал случайно, от нужды. Перед первой войной, он учился в Москве на медицинском факультете, жил уроками впроголодь, но каждый день покупал «Русские Ведомости» и выписывал «Русское Богатство». В 1914 году по от-

сутствию средств вышел из университета в надежде позднее закончить образование, и скоро призван в армию. Служил он на малозаметном кавказском фронте, там заболел тяжелым воспалением легких и был освобожден от службы, не получив никаких наград. В революции участия не принимал, — только что на выборах голосовал за народных социалистов. В пору голода он стал очень кашлять. Врач сказал, что единственное для него спасение: переехать на юг. Иван Васильевич поселился в Симферополе, работал в больнице, в аптеке, в лаборатории, заболел сыпным тифом и, выздоровев, женился, больше из благодарности, на ухаживавшей за ним сестре. Через три года он согласился на развод, оставив жене сына, и, чтобы не оставаться с изменившей ему женой в одном городе, переехал на южный берег Крыма. Не найдя другого заработка, стал работать в садах. С годами он приобрел себе имя. Напечатал в ученых изданиях несколько статей: «Еще к спорам о падучке и виноградной блошке», «Ранцевые Помоны в борьбе с филлоксерой», «Так значит все-таки опрыскивать?» (с подзаголовком: «Вынужденная отповедь головотяпам»), — надо было писать как другие, и головотяпы в тот раз очень его рассердили.

Он был высокий, очень худой, чуть сутуловатый человек с горячими сухими руками, с усталым приятным лицом. Дамы равнодушно говорили о нем, что он скорее не дурен собой. Все признавали, что он человек очень образованный... Иван Васильевич покупал имевшие успех книги и, если книга оказывалась хорошей и лишь в меру необходимости льстивой, радовался как ребенок и имел такой вид, точно произошло большое событие, которое должно иметь важные политические последствия. — «Как хотите, это очень показательно», — говорил он Марье Игнатьевне. Но гораздо чаще, прочитав

новую книгу, вздыхал и ничего не говорил. Автора впрочем не осуждал: «Повесил же и я у себя его портрет». Как-то раз он в глубокой тайне получил от знакомого, который имел друзей в партактиве, старый номер парижской эмигрантской газеты, прочел все, включая объявления, затем сжег на жаровне. Он с гимназических лет немного знал французский и немецкий языки, а в Крыму по самоучителю научился читать по-английски, но произносил слова так, как они писались. К нему иногда направляли заезжих иностранцев, тех, которым разрешалось встречаться с населением. Какой-то американский коммунист, кое-как поговорив с ним, спросил, чем он занимается. «Жоб? Бусинесс?» — понял Иван Васильевич и, чуть смутившись, ответил. — „I see. Exterminator” — сказал снисходительно американец. Иван Васильевич пояснил: по латыни значило — истреблять. Было скорее приятно, что в культурной западной стране тоже существует такая профессия; но это слово ему почему-то не понравилось.

Его приглашали на работу в Ялту, в Гурзуф, в Алушту. В пору полного безденежья он, когда мальпоста не было, уходил туда пешком. Если же в «Гекторе Сервадаке» кое-что было, нанимал у старого татарина низкорослую широкогрудую лошадь, надевал чувяки, перебрасывал через седло суму с парижской зеленью и с керосиновой эмульсией, а к спине прицеплял ранец с опрыскивателем, придававший ему дикий вид. Ездил он верхом недурно и часть дороги проделывал галопом, — рыси не любил. Никогда умышленно работы не затягивал, был известен своей добросовестностью. Среди насекомых различал легкие и тяжелые породы. Особенно трудно было истреблять долгоносиков. Когда в садах и виноградниках работы не было, истреблял в

домах клопов и тараканов. Эту работу можно было найти всегда.

До войны он нередко ездил в гости, еще чаще звал гостей к себе и угощал их блюдами собственного изготовления. Купил какую-то старую поваренную книгу, но от нее пользы оказалось немного. Читал: «Очистить молодую хорошо откормленную индейку, обжарить в сливочном масле с мелко нашинкованными трюфелями, добавив два стакана старого хереса. На фарш сварить пятьдесят штук раков, из скорлупы сделать раковое масло, убрать филейчиками, нарезать звездочками шпик. Очень вкусно». — «Да, это, вероятно было очень вкусно», — думал иронически Иван Васильевич, никогда таких блюд не евший и до революции, «мы будем это есть после окончательного торжества социализма во всех странах».

В этой подержанной, купленной по случаю книге, оказался листок очень плотной золотообрезной бумаги со стихами, видимо переписанными очень давно. Иван Васильевич и не знал, чьи это стихи о любви и недоумевал, как они могли оказаться в поваренной книге; но часто их перечитывал, особенно с той поры, как сам почти влюбился на старости лет. Поваренная книга была ему не нужна, однако он любил ее просматривать, а золотообрезным засаленным листком пользовался как закладкой.

Раза два в год его прежде навещал сын, юноша по духу ему чужой, но славный, менее грубый, чем другие молодые люди. Он был убит в первый же год войны. После его гибели Иван Васильевич больше не садился на лучший, левый от входа диван. Сам он несколько месяцев дежурил на крышах с противогазовой маской, он и для дежурств годился плохо; так и не научился отли-

чать Мессершмидты от своих. Он был всегда плох в технических предметах, не умел ничего починить и не разбирался в автомобилях, — сын только поглядывал на него со снисходительной улыбкой, как деревенские жители смотрят на людей, не умеющих отличить пшеницу от клевера. Когда немцы стали подходить к южному берегу Крыма, Иван Васильевич пытался уехать, но это ему не удалось: поезда, грузовики, брички, арбы, тачанки были захвачены более влиятельными людьми, чем он. Впрочем, во все время владычества немцев, он их видел лишь издали, обходил даже часовых или отворачивался от них с отвращением и ненавистью.

В прошлый четверг случилось это. Вернувшись от врача, Иван Васильевич сел на правый диван и долго смотрел перед собой на раструб кремневого ружья, и думал, что же нужно сделать. «Самое странное, что ничего делать не нужно, да и невозможно... Все очень просто. Вот дело и кончено»...

Врач сказал, что у него рак: — «Похоже на рачек граждан, похоже на рачек». Впрочем гистологического анализа еще не было: надо было послать ткань куда-то в другой город. Это требовало времени, особенно теперь. «Грубая жизнь» устало думал Иван Васильевич, — В Америке наверное сделали бы анализ тотчас. Грубая жизнь... В наше время ни один врач не сказал бы пациенту: «у вас похоже на рачек»... У нас были традиции... Ну, там Пирогова или Грановского... хотя при чем же тут Грановский? Может быть, этот субъект был навеселе, и он прав, нам нельзя не пить. Мне запретил, да не все ли теперь равно? А вчера еще мечтал, старый дурак, о Марье Игнатьевне! Она приезжает в воскресенье, сказать ей? Конечно нет, зачем? Она будет огорчена, но скоро забудет. Другие забудут на следующий

день и тоже правы... Грубая, грубая жизнь», — думал Иван Васильевич, все так же глядя на раструб кремневого ружья.

3.

Приказ о выселении привез ему знакомый, которого все называли Пистолетом. Он служил в полиции всю жизнь: при царском строе, при Временном правительстве, при большевиках. Иван Васильевич знал его, как знал почти всех на южном берегу, немного стыдился этого и в оправдание себе говорил, что в известном смысле порядочным человеком можно быть при каком угодно занятии. Впрочем, тут же сам себе отвечал, что едва ли, например, может быть порядочным человеком сутенер. «В НКВД он, как будто, не служит». На обед он Пистолета к себе не приглашал, но когда тот приезжал наудачу или останавливался по дороге у его сакли, угощал его наливкой и объяснял себе: «Попробуй-ка такого не принять!» Все говорили впрочем, что Пистолет «человек компанейский». Без необходимости он гадостей не делал; по необходимости же делал их очень легко: надо так надо. Иван Васильевич не раз это видел. Тем не менее ему, к собственному его удивлению, иногда бывало приятно поболтать и особенно выпить с Пистолетом. Это был невысокий человек; от него веяло здоровьем, благодушием и весельем. Он недурно пел крымские песни и своеобразно ругался: по его ругательствам, «меньшевик паршивый», «беспартийная шпана»; «сателлит», «троцкист собачий», «фашистский гад», можно было, по мнению Ивана Васильевича, следить за политическими событиями. Пистолет отлично рассказывал анекдоты, до революции всякие, теперь всякие, кроме грузинских. Прекрасно изображал оканье «мни-

хов» или еврейский акцент. При немцах он только потому не закричал «Бей жидов!», что эвакуировался до их прихода в числе первых. Со временем может и закричит, но только если выгода будет верная и ясная. Вероятно вокруг Тушинского вора были все такие люди. «А пульс у него, должно быть, 70 и давление крови 14», — думал Иван Васильевич. С четверга он невольно следил за людьми, вид которых как будто свидетельствовал о болезни. У старого пекаря соседа был апоплексический вид. «У него давление верно не меньше 25. Может умереть раньше меня», — думал Иван Васильевич и, несмотря на его доброту, эта мысль немного его утешала. А сын соседа, мальчик, мог прожить еще лет шестьдесят. Иван Васильевич только себе представил: шестьдесят лет! «За это время наверное найдут средство излечивать рак... А то может быть, его найдут через неделю после моей смерти», — думал он, почти с ненавистью поглядывая на сидевшего перед ним здорового толстокожего человека.

— Мать честная! Що це у тебе, царь Грозный, вид такий, як кажуть краше в гроб кладуть, — сказал Пистолет, вглядываясь в него с любопытством (хотя в полицейском отношении Иван Васильевич был совершенно неинтересен). Пистолет был родом из Великороссии, но постоянно вставлял в свою речь малороссийские, еврейские, татарские слова. «Как это глупо и неестественно!» — подумал Иван Васильевич. Его из за имени — отчества и тихого характера остряки часто звали Иваном Грозным. — Чи болен? Чи влюблен в гарну дивчину? А може, хочеш кого застукать?

Иван Васильевич, доставая из шкапчика угощение, ответил, что не болен, не влюблен и никого застукать не хочет. Он налил наливки в фаянсовую чашку с жел-

той трещиной внутри, напоминавшей по форме линию жизни. Его стаканы давно все поразбивались.

— А ты что же не пьешь, дуся? Нездоров или що?

— Исхудал? — быстро спросил Иван Васильевич.

— Штоб да так нет, не исхудал. Треба выпити, дуся. Один Севастопольский герой, того Севастополя, пьяница, Николаевский солдат, говорил: «Водка враг мой, но Христос велел любить и своих врагов», Так-то, дуся. Хороша твоя наливка, грех хаять. На родительских? — спросил он, немного подчеркивая свой либерализм в вопросах веры: так прежде назывались лучшие вишни, поспевавшие к родительской субботе.

Поболтав еще немного, Пистолет передал Ивану Васильевичу приказ о выселении. Прежде такой приказ показался бы Ивану Васильевичу большой бедой. Теперь он и к этому отнесся почти равнодушно.

— Да в чем дело? Кто такой приезжает?

— Черчиля ждут, дуся, — сказал Пистолет. — Черчиля. Конференция буде.

— Что же, вы мою саклю отдадите Черчилю? — со слабой улыбкой спросил Иван Васильевич, делая из вежливости тоже ударение на последнем слогe. Пистолет засмеялся.

— Оце ты здорово казав! Твоя сакля, дуся, дюже гарна, буде с него, биса, Воронцовского дворца.

— Так чем же я ему мешаю?

— Ты ему, дуся, не мешаешь, це он тоби мешае. Ты как полагаешь, охранять Черчиля треба? Та вжеж треба. Може, где ишо тут и Хрыци запропастылись, — сказал Пистолет и лицо его стало серьезным; он перестал употреблять малороссийские выражения. — Приезжих из Москвы ребят надо, а? И еще угораздило тебя, брат, поселиться у дороги на аэродром. Короче говоря, я из уважения к тебе приехал предупредить за день.

Других просто гонят в шею: собирай, брат, свои манатки, ступай на все четыре стороны, и никаких гвоздей.

— Я то на какую из четырех сторон пойду? — сердито спросил Иван Васильевич. Пистолет на него посмотрел.

— Ша! — сказал он и встал из за стола. Выпятив грудь, расставив руки с крепко сжатыми кулаками он запел: «Поедем, охотник, кататься, — Я волны морские люблю»... Иван Васильевич соображал, у кого ему попросить гостеприимства. «Или прямо в больницу пойти? Ни за что!».

— Найдешь, дуся, куда деться, — сказал Пистолет и налил себе в чашку еще наливки. — Кого другого, а тебя все примут как дорогого гостя, а то и мы шепнем, чтобы приняли как следует. Ну, Михайлову уприси, у нее славная квартирка. Партбилет с 1919 года, активистка и завженотделом. У нее насильно не реквизишь. И то правда, что теперь в Ялте такая трепатня идет.

Рассказав о трепатне, выпив всю бутылку наливки, Пистолет сообщил, что дело не в Черчиле.

— На Черчиля, ты сам понимаешь, нам с третьего этажа начихать. Лордам по мордам! Да и кто его тронет? Ни одного живого фрица во всем Крыму нет. С а м приезжает, вот что! Будет жить в Юсуповском дворце, — сказал он, понизив голос и заранее наслаждаясь эффектом своих слов. Но на Ивана Васильевича теперь и приезд самого не произвел особенного впечатления. Пистолет огорчился и пожалел, что сказал. — Только ты, дуся, никому ни слова, слышишь? Сам понимаешь!

— Да кому же я скажу? Трубновертам на винограде, что ли? — утрюмо отозвался Иван Васильевич. Пистолет опять на него посмотрел, взял книгу с дивана и пожал плечами.

— Читай, дуся, читай. Теперь тебе за это никто ничего припаять не может, не те времена... А вообще держи

ухо востро. Я тебя худому не учу, да ты меня не очень слушаешь. Как в твоём Писании сказано: «Пискахом вам, а не плясасте», — вставил Пистолет. — О своих же вещах не кручинься. Братва такая, что золото им положь, и того не стащат. Им за воровство чуба накрутят.

— Почту будут ли пересылать?

— Я им скажу, оставь адрес... Хочешь свежую газету? Вот... Ну, прощай, спасибо за угощение.

Проводив гостя, Иван Васильевич поднялся на крышу и занялся обедом. Марья Игнатьевна обещала приехать к четырем часам. «Да, да, не все ли равно теперь?» — думал он, чистя картошку. Он в самом деле знал несколько человек, которые, хоть и без радости, не отказались бы ненадолго приютить его. У Ивашикевичей была свободная комната, оставшаяся от трех убитых на войне сыновей. «Да уж очень тяжело теперь с ними. «Братва» все перероеет и просмотрит. Ничего недозволенного у меня нет»... Решил взять с собой и письма Марьи Игнатьевны, хотя они были самого невинного содержания. Последнее письмо от нее пришло за несколько дней до того: «Приеду «на чашку чаю» и сообщу вам приятную новость», — писала она, опять шутливо подчеркивая взятыми в кавычки словами его дореволюционный склад мыслей. — «Какая - такая приятная новость? Какие теперь могут быть приятные новости?» — подумал Иван Васильевич.

Он насадил на вертел баранину, за которую утром отдал почти все свои деньги. Жарить еще было рано. Иван Васильевич стал просматривать поваренную книгу. Она открылась на свадебном обеде. «Девушка выходит замуж не трижды, а раз в век, нельзя не постараться для свадьбы. Скажем, для начала, под водочку: холодные, студень, заливная рыбка, поросенок под хреном, ветчина с кореньями, майонезик из цыплят, икра, соленья,

всякая мелочь. Потом щи и уха: попадется и хворый гость, а отведаст и того, и другого, ежели повара постараются. Пирогов два: к примеру, с кашей и с курицей. Жарких достаточно подать четыре; телятину, баранину, гусей и уток, а кто любит поест, предложить еще жаренных карасей. Потом два-три киселя, сладкие пироги, оладьи с медом, розанчики, желе, сладкие ленты. Ничего заморского, никаких устеров не нужно. А уж на вина надо потратиться, чтоб были старые, крепкие: как хлебнешь — упадешь, вскочишь — еще захочешь. Зато гости встанут довольные. Кто постарше, заляжет соснет, а молодежь будет играть в жмурки, в веревочку, в кошку — мышку».

Иван Васильевич представил себе, как играет молодежь, и рассеяно взял золотообрезный листок:

Для кого расцвела? Для чего развилась?
Для кого это небо, — лазурь ее глаз,
Эта роскошь — волнистые кудри до плеч,
Эта музыка, — уст ее тихая речь?..

Он попробовал представить себе такой Марью Игнатьевну, вздохнул и посмотрел на часы. Вспомнил о газете, прочел приказ Верховного Главнокомандующего и оперативную сводку. «Мемель взят, слава Богу», — радостно подумал он. Войска маршала Жукова находились в 130 километрах от Берлина. Американские бомбовозы сбросили 2500 тонн бомб на германские города. — «Таким проклятым и надо». Со времени гибели сына особенно ненавидел немцев. Просмотрел другие заголовки: «Новый успех машиниста Дмитрия Коробкова...», «Торжественная клятва сталинградских тракторозаводцев...», «Легкомысленное отношение к отгонному животновод-

ству...». Иван Васильевич опять вздохнул, отложил газету, взял вертел и стал жарить мясо.

Солнце уже садилось. По дороге проходили люди, неприятные и страшные тем, что всем им наверное оставалось жить более двух месяцев. «Говорят, не все ли равно: немного раньше, немного позже. А ради этой разницы между «немного раньше» и «немного позже» делается три четверти того, что делается в мире... Обо мне даже и объявления не будет. Марья Игнатьевна узнает дня через четыре... От кого она может узнать?» — рассеянно думал Иван Васильевич, глядя в сторону моря. Воронцовский дворец горел красным пламенем.

«Господи, как хорошо! Во сне не выдумаешь этих садов, этих красок, этого волшебства... Там то они голубчики будут решать нашу судьбу, мою судьбу. Съехались освободители, ну, решайте, решайте... Впрочем, что-ж, они и в самом деле освобождают... Но с выбором, с разбором», — подумал он злобно. На него иногда находили припадки злобы и даже бешенства, как будто находили без видимой причины, но входило сюда все: и его жизнь, казавшаяся ему загубленной, и его заношенное белье, и отсутствие «Русских Ведомостей», и то, что он повесил портрет Сталина, и то, что он принимал и угощал такого человека, как Пистолет, и многое другое. В эти минуты он забывал о достижениях советского строя, которые признавал и ценил не-только в разговорах с Марьей Игнатьевной, и с ненавистью думал об иностранцах, особенно об иностранных правителях. «Все, все они лицемеры и обманщики». — «Жир терял, дурак, гаспадын таварищ!» — благодушно закричал с дороги старый татарин и дружелюбно помахал ему рукой.

— У вашего сиятельства в сакле всегда немного пахнет прокисшим молоком. Вот, что значит готовить у себя дома овечий сыр, — сказала Марья Игнатьевна. — Я говорила и повторяю, что вам, с вашими запросами и способностями, надо жить в Николаеве.

У нее и теперь был такой вид, как будто она сейчас сделает что-то очень важное и приятное. Войдя в саклю, она критически осмотрела стол, чуть поморщилась, потребовала полотенце и тотчас принялась за работу: перетерла тарелки и чашки, отогнула ключом крышку жестянки с американскими консервами, налила себе водки (Иван Васильевич утаил от Пистолета крошечную бутылку). Ела она с аппетитом и всегда все хвалила, так что на нее было особенно приятно стряпать.

— Я нынче пить не буду.

— Что так, ваше сиятельство! Или нездоровы?

— А что? Исхудал?

— Немного как будто похудели. И отлично, что вы не пьете. По моему, вы в последнее время злоупотребляли. Ну так я выпью без вас... Отличная водка, — говорила она, намазывая лепешку консервами. — Но прежде всего, приятная новость. Вот в чем дело, ваше сиятельство. В Ялте скоро состоится важная международная конференция. Для вас есть работа.

— По дипломатической части? — слабо пошутил он.

— Нет, по истреблению клопов. Во дворце Николая Романова в Ливадии. В этом дворце, как вы знаете, долго был крестьянский санитарий и теперь нужна дезинсекция. Приезжают люди из Москвы, но нашли вас рекомендовали как выдающегося местного спеца. Ваша помощь признана необходимой, это хорошо оплачи-

вается, а я догадываюсь, что вам деньжата пригодятся. Во дворце остановится президент Рузвельт...

Она уже все знала: кто приезжает, где кто будет жить. Нашлась работа и для нее: ее включили в комиссию по приведению в порядок Воронцовского дворца. Иван Васильевич был и разочарован новостью, и тронут: понимал, что рекомендовали его не «наши», а она. Он грустно смотрел на нее и думал, что еще в среду мечтал о женитьбе на ней, хотя, вероятно, без всякого права. В старых романах Иван Васильевич читал о хороших и плохих партиях. Теперь слова «партия» в таком смысле никто из молодых верно не понял бы, но понятие, выражавшееся этим словом, осталось, изменились только его признаки. Михайлова, активистка и завженотделом, была прекрасная партия; Марья Игнатьевна, получавшая немалое жалованье, имевшая комнату с собственной кухней и с проточной водой, была хорошая партия; сам он, конечно, был никакая партия. К тому же, в последние годы ему лишь редко приходило в голову, что он еще может нравиться женщинам. В одну из таких редких минут была куплена у букиниста книга профессора Патрика.

— ...Я сегодня в первый раз по-настоящему осматривала Воронцовский дворец, — говорила она, наливая себе вторую рюмку. — Да-с, сладко жили эти ваши крепостники. У княгини, видите - ли, была гардеробная, ну, я вам скажу! Для библиотеки было чуть не целое здание, хотя никто из них, ясно, книг не читал. Картины графье продало, но остались семейные портреты, мы сегодня совещались, снять их или нет. Решили оставить: под ними выцвели шпалеры. Мебель пришлось привезти из Москвы, теперь будем все расставлять и приводить в порядок. Работы пропасть, а так как в Ялту ездить далеко, то мне отвели комнату в каком то фли-

геле. Вот приходите ко мне по вечерам, когда будете возвращаться из Ливадии.

— Не буду возвращаться, Марья Игнатьевна, — сказал он со вздохом и сообщил, что его выселяют. У нее на мгновение вытянулось лицо, но тотчас снова показалась улыбка.

— Ясно! — сказала она. — Частные граждане должны поступаться своими удобствами в интересах государства. Куда же вы поедете?

— Не знаю. Думаю, к Ивашкевичам.

— Ну, вот! Да у них и реквизировали комнату. В Ялте теперь все переполнено. Я не думала, однако, что понадобится и ваша сакля. Пойдите, — сказала она, еще не зная, хорошо ли придумала или нет, — Знаете что: переезжайте ко мне! От Ялты в Ливадию рукой подать.

— К вам? — сказал Иван Васильевич, пораженный и почему-то приятно сконфуженный — Как к вам?

— Так, ко мне. Раскумекайте сами: это вы мне окажете услугу, я по крайней мере буду спокойна за мою квартиру. Вы будете держать ее в полном порядке, — сказала она, без большой уверенности в голосе. Взгляд ее задержался на его косоворотке. — Только одно: моей кровати не трогайте, вы будете спать на диване. Постельное белье и подушку я вам, ясно, дам. Не благодарите, буза!

— Я очень тронут, но... Я не могу не благодарить...

— Так предположим, что вы меня уже поблагодарили, а я сделала вашему сиятельству реверанс. Как вам не совестно!.. Неужто у вас, правда, будет шашлык? Где вы достали баранину?

— Достал. Но кроме шашлыка ничего не будет, даже фруктов не мог нынче достать, — сказал Иван Васильевич, у которого не хватило денег для покупки сладкого.

— Ясно. Вы не князь Воронцов, чтобы устраивать

обеда из четырех блюд... Где же он, шашлык? Ах, да, на крыше, — сказала она и захохотала. Смех у нее был особенно милый. — Хотите, я помогу? Нет? Ну, так карабкайтесь вы на крышу, живо.

Он засуетился, взял тарелку, побежал. На крыше, схватив сковородку, задумался: жить у нее, в ее комнате, спать на ее диване! И тут же вспомнил это. Радость как рукой сняло. Он вздохнул и пошел вниз, держа впереди себя вертел вертикально, как держат свечу. Она тем временем в сакле критически осматривала его диваны, шкафчик, хозяйство. «Почти ничего пригодиться не может... Кошмы выбросить... Плохо живет. Но правда, он очень, очень славный человек, верный друг. Во многих отношениях он лучше всех молодых, да пожалуй и умнее». Она увидела, что он незаметно поддерживает пальцем кусок мяса на вертеле, опять залилась смехом.

— ...Нет, нет, ничего, я так... Просто мне очень весело и уютно с вашим сиятельством. Да, да, недурно жили эти крепостники, — говорила она, снимая с вертела мясные кружки. — Четыре вам, четыре мне, по братски. — Он вспомнил, что до этого, раз кто-то при нем назвал ее Марьей Васильевной и что ему это было приятно: точно она была его сестрой. — У княгини в гардеробной стояло шестнадцать огромных шкапов, каждый чуть не больше вашей сакли!

— Князь Воронцов, — сказал Иван Васильевич, — в 1815 году командовал чем-то во Франции. Наши офицеры жили весело и все понаделали там долгов. Так вот, чтобы не запятнать русского имени, он за них за всех заплатил долги из своих средств.

— Какой дурак!

— Человек он был, кажется, в известном смысле нехороший. Но это не мешало ему создать то чудо искус-

ства, — сказал он, показывая коркой хлеба в сторону окна. — У этих людей был размах. Сами они, быть может, в искусстве смыслили не так много, но боюсь, что только при них, при их строе, и могли создаться все чудеса искусства: дворцы, соборы, даже картины.

— Опять буза! Мы в порядке социалистического строительства создадим не такие чудеса.

— Вам, быть может, удастся создать то, что у каждого человека будет своя комната с проточной водой и балкончик с горшком цветков. И я нисколько не иронизирую: проточная вода и балкончик с цветочками великая вещь. К несчастью, пока у нас нет и этого. Но о произведениях искусства не говорите: для них нужна свобода духа... Она будет? Может быть, но люди живут только один раз! Вот я, маленький человечек, не так счастлив, что я и подобные мне — это глина, из которой делаются кирпичи для чужих дворцов, все равно княжеских или ваших.

— «Ваших»! Сказал! Они не «ваши», а «наши». Эти дворцы теперь принадлежат народу, то есть вам.

— Неужто? Конечно, в известном смысле это и так, но вот, представьте себе, я здесь живу без малого тридцать лет и не чувствую, что этот дворец — мой. Не все ли равно мне, живут ли в нем князья или помещаются никому не нужные учреждения? А показывали дворец посетителям и при Воронцовых. Нет, дворец не мой, Марья Игнатьевна, и мне он, конечно, ни к чему. Вот, если бы хоть эта сакля была моя, это было бы уже недурно, да вот, видите, меня из нее погнали. Не в этом дело! — разгорячившись говорил Иван Васильевич. — Хвастайте тем, что действительно есть. Войну мы выиграем, это так, честь и слава. Показали, что можно обходиться без банкиров, спекулянтов, биржевиков, тоже честь и слава. Правда, для этого пришлось создать во

сто раз больше чекистов, чем прежде было мошенников, но я понимаю, это достижение, оно имеет историческое значение, хвастайте, даже привирайте, это так. А вот об искусстве вам лучше не говорить и о духовной культуре тоже: они невозможны при таком нечеловеческом гнете. Россия глупеет, Марья Игнатьевна! Ах, как поглупела Россия! Мне иногда кажется, что в ней теперь живет какой-то другой народ, а мой старый вымер. Что-ж, были на наших местах какие-то древляне или там скифы, и кровь у них была наша, и биологические признаки наши, а на нас ведь они все-таки походили мало. Так и теперь, порою я думаю, народилось новое племя, в некоторых отношениях наверное очень хорошее, но другое и грубое племя, Марья Игнатьевна, ведущее грубую жизнь, грубеющее с каждым днем, все более безнадежно... Разве возможно искусство при нашем зверином быте! У нас ничего духовного нет и быть не может! — сказал Иван Васильевич и подумал, что прежде не сказал бы этого даже ей, хотя знал твердо, что она не донесет. «Видно, у нас надо заболеть раком, чтобы вслух говорить правду...»

— Сказал! — изумленно заметила Марья Игнатьевна, в самом деле очень недовольная. — По вашему, что Воронцовы покровительствовали искусству! Справились бы вы об этом у Пушкина, он как раз хорошо знал этого князя. Или вам жаль Воронцовских латифундий?

— Нет, вы меня не поняли. Зачем мне «латифундии»? Слава Богу что их отобрали. Вы думаете, я им этого не прощаю? Нет, нет, не заблуждайтесь. Я поглупения России им не прощаю и никогда не прощу! Наш народ был одним из самых умных в мире, наша интеллигенция была тонкая, чуткая, гуманная, и такая же была наша литература. А теперь? На обложке самого модного романа одобрительно сообщено об авторе, что он от такого-то

года по такой-то служил в Че-Ка. Мыслимо это было в мое время или в какое угодно другое? Роман, конечно, дрянной, читать стыдно. А наша жизнь, наша молодежь? «Буза», «чуба накрутят», «собирай манатки»... Он хотел было добавить: «у вас гражданин, похоже на рачек», но спохватился, увидев, что она побледнела. «За бузу!» — Ради Бога, не сердитесь, я не то хотел сказать, совсем не то.

— То-то и есть, что не то! — сказала Марья Игнатьевна. Ей не хотелось с ним ссориться. — Вы нездоровы, Иван Васильевич и стали плохо собой владеть. Надо быть осторожнее... То есть, я говорила и повторяю, что надо критически относиться и к своим мыслям, и к своим действиям. Вот вы так любите вашу духовную культуру, а посмотрите, как вы живете. Окурки кидаете в чашку, это партия вас заставляет, что ли? Или может быть советский строй запрещает вам убирать вашу саклю, а? Нет, положительно вам надо переехать в Николаев. Меня приглашают туда читать курс, как только кончится война, — говорила она, опять примирительно улыбаясь.

5.

Все были довольны. По главному вопросу было достигнуто соглашение. Сталин признал полную независимость Польши и согласился на линию Керзона. Было решено в месячный срок устроить в освобожденной Польше демократические выборы на началах всеобщего тайного голосования. Было решено также включить лондонских поляков в национальное правительство. Все говорили Черчиллю, что блестящий успех был в значительной мере следствием его короткой речи.

— «Великобритания, — сказал он, почти не поднимая голоса и вкладывая известными ему способами, — глу-

хим звуком, замедлениями, расстановкой и повторением слов, выражением лица, тяжелыми, короткими, резкими жестами, даже легким, нервным покашливанием, — огромную силу в то, что он говорил, — Великобритания объявила войну Германии ради того, чтобы Польша осталась свободной. Всякий знает, с каким страшным риском это было для нас связано. На карту было поставлено самое существование нашей страны. Для англичан дело Польши есть дело чести! Мы подняли меч для ее защиты от Гитлера, и не может, не может нас удовлетворить такое решение, которое не оставило бы Польшу свободным, независимым, суверенным государством».

Его слова произвели сильнейшее впечатление. Президент Рузвельт и члены американской делегации кивали головами с полным одобрением. Англичане не кивали только потому, что их полное одобрение разумелось само собой. Сталин слушал, полузакрыв глаза. Он ждал перевода, но видел, что Черчилль говорит не так, как обычно. Когда короткая речь была переведена, Сталин одобрительно наклонил голову. И тотчас одобрительно закивали Молотов, Вышинский, Майский, Гусев, Громыко, адмирал Кузнецов, маршал Худяков, и генерал Антонов.

Так в общем шло дело во все время работ конференции. Бывали осложнения, лица становились озабоченными, о многом спорили долго, и вдруг затем оказывалось, что незаметно достигнуто соглашение. Все выражали радость, президент облегченно вздыхал и шутил. Понемногу улучшилось и настроение у Черчиля. Этому способствовала стоявшая в Ялте прекрасная весенняя погода. Англичане, подчинявшиеся настроению старика, были тем более довольны, что старик приехал на конференцию злой.

Он не хотел ехать в Крым и умолял президента не соглашаться на встречу в Ялте. Уверял, что там негде остановиться, что там мороз, вши, тиф. Несмотря на свою культуру и образование, истинно необыкновенные для государственного человека, Черчилль почти ничего о России не знал, кроме газетных известий и секретных донесений. И тем, и другим он верил плохо: газеты, даже английские, не всегда печатают верные сведения, а секретные агенты, даже умные и добросовестные, часто врут что попало, так как ценного материала добывают недостаточно, вынуждены верить сомнительным осведомителям и вдобавок, сознательно или бессознательно, подлаживаются к настроениям тех, кому докладывают.

На аэродроме гостей встречал Молотов. Сталин должен был приехать в Крым лишь на следующий день. В этом не было ничего обидного: маршал был очень занят. Однако ни ему, Черчиллю, ни президенту Рузвельту, хотя и они были очень заняты, не пришло бы в голову приехать на конференцию позже приглашенных гостей. Президент, прилетевший в Саки на несколько минут раньше его и на несколько минут раньше его уехавший с аэродрома, был, повидимому, в самом лучшем настроении духа. Оба они приятно улыбались, крепко жали руку хозяевам, говорили, что прекрасно понимают, спрашивали о здоровье маршала.

Он проделал что полагалось. Еще в аэроплане закурил огромную сигару. Ему не очень хотелось курить, но он знал, что сигара—его gag, такой же, как зонтик Чемберлена (оказавшийся с годами не очень удачным gag-ом), или как котелок и тросточка Чаплина. Его сигара имела громадный успех во всем мире: все огорчились бы, если б увидели Черчиля без сигары. Как ему показалось, здесь успех его был значительно меньше. Он сделал знак победы, — другой его gag, — но этого знака уж повиди-

мому никто не оценил или даже не понял. Черчилль с усмешкой подумал, что, быть может, в этой стране его прежде показывали на экранах не столь часто и не совсем так, как в Англии, Америке, в Австралии. Стоявшая за кордоном толпа была невелика и состояла больше из подростков. Они с жадным любопытством смотрели на «Священную Корову» президента, на английских и американских истребителей.

Оркестр играл британский гимн. В своем полковничьем мундире, в черной меховой шапке, не задолго до того подаренной ему канадцами и надетой в виду крымской стужи, Черчилль прошел мимо выстроившегося гвардейского полка. Как старый офицер он не мог не заметить, что люди, их снаряжение, выправка необыкновенно хороши, — понимал впрочем, что отбор был тщательный. Поглядывал на них со смешанными чувствами. Ему всегда нравились хорошие солдаты, кто бы они ни были, хотя б и немцы. Эти же были союзники, так много сделавшие для победы. Братство по оружию, верность союзникам, *fair play* были для Черчиля не пустые слова. Тем не менее, глядя на вросших в землю великанов, он не думал, а в глубине души чувствовал, — что для его страны было бы лучше, еслиб этих людей было меньше. Звуки *God save the King* без перехода сменились звуками советского гимна. Ему вдруг стало смешно. Не обидно, что он, семидесятилетний старик, первый министр Англии, внук седьмого герцога Марлборо, должен был лететь черт знает куда и что бывший экспроприатор, сын сапожника, ни разу не удосужился отдать ему визит в Англии, не счел нужным встретить его и президента Соединенных Штатов, — не обидно, а скорее смешно. Он совершенно не выносил Сталина. Теперь, он знал, в Америке в глубокой тайне готовилось новое орудие разрушения, ко-

торое могло означать господство над миром. Черчилль радостно думал о том, как с любезной улыбкой сообщит Сталину об изобретении атомной бомбы. Думал также, что если американское оружие окажется не слишком страшным, то старого мира не спасет ничто. «После демобилизации он будет всемогущ.» Но до этого пока было далеко. Его позабавило сочетание гимнов. Большевики молились Богу о благополучии английского короля, — это было как бы символом лжи дипломатических конференций.

Он простился с президентом, крепко пожал ему руку, сказав что-то особенно любезное и забавное. Черчилль уважал Рузвельта и считал его совершенным джентльменом (в международной политике осталось так мало джентльменов). Они были почти друзьями. Тем не менее чарующая улыбка президента в последнее время его раздражала. Он понимал, что эта улыбка тоже gag, быть может полусознательный, но очень полезный президенту, порою оказывавший немалые услуги общему делу. Однако, Черчилль находил, что Рузвельт слишком верит в силу своего обаяния. На Мальте, где он, в знак особого внимания, встречал американскую делегацию по дороге в Ялту, президент сообщил ему, что намерен встретиться на обратном пути с Ибн-эль-Саудом: надо же наконец примирить арабов с евреями! На это он вслух ничего не нашелся ответить. Им вообще беседовать было не так легко. Черчилль находил, что Рузвельт говорит хорошо, но слишком много. Рузвельт думал о нем то же самое. В Ялте, по мнению Черчиля, чарующая улыбка президента была совершенно ни к чему: Сталина не очаруешь.

В последнее время Рузвельт его раздражал тем, что понемногу с каждым днем все более входил в роль третейского судьи между ним и Сталиным. Это было осо-

бенно неприятно в связи с огромным могуществом Соединенных Штатов. Черчилль любил американцев, но порою и он, как все англичане, чувствовал глухое раздражение против Америки, вдруг — по какому праву? — занявшей и х законное место в мире. Ему было очень тяжело, что на его глазах Big three превращались постепенно в Big two. Все его искусство, весь его личный авторитет не могли этому помешать. Тем не менее президент своим умом, благородством и простотой обычно бывал ему приятен. В последнее время к этому чувству присоединилась и жалость. Рузвельт, очевидно, был тяжело болен. Англичане почти растерялись, увидев его на Мальте: так он изменился за несколько месяцев.

В автомобиле Черчилль, с любопытством туриста и художника, все время осматривался по сторонам. «Красиво... Необыкновенно красиво...» Не предполагал, что в этой огромной, непонятной и страшной стране есть и такие земли. Когда показались Воронцовские сады и открылась громада дворца, он от удивления даже вынул изо рта сигару.

Своей тяжелой, стариковской походкой он прошел по гостиным, по зимнему саду, по столовой в средневековом стиле. Со стен на него глядели люди в кафтанах, в париках, лентах, в мундирах с высокими воротниками. Это были, вероятно, полудикари, но они заказывали свои портреты Лауренсу, по виду очень походили на тех людей, чьи портреты висели по стенам замка герцогов Марлборо, в котором он родился. Смотрели они на него хмуро, точно говорили: «Изменил, изменил, с кем связался! Ах, как нехорошо...! Может быть, и в Бленхеймский замок придет такая же шайка»...

Неодобрительно они на него глядели и в день завтрака. Приготовлениями ведала его дочь, уже знавшая, кто что любит. Президент из коктейлей предпочитал Old

Fashioned. Сталин пил в небольшом количестве водку и кавказское вино. Ее отец в еде и напитках не проявлял патриотизма и хотя пил везде все что давали, любил понастоящему лишь старый французский коньяк и французское шампанское. Он ласково улыбнулся дочери, одобрительно кивнул головой, окинул взглядом стол — и не первый раз пожалел об отсутствии французов. Из государственных людей, которых Черчилль знал, он одного Клемансо мог признавать равным себе. Но и с Брианом, и с Тардье, и с Филиппом Бертелло тоже никак нельзя было соскучиться за вином.

Теперь, он знал, будет невыносимо скучно. За завтраками и обедами, длившимися иногда три-четыре часа, повторялись одни и те же замечания об еде, о напитках, о красотах Крыма (все немедленно переводилось с совершенной точностью). Он заранее знал, что Сталин скажет президенту: «Это вы нам принесли хорошую погоду», и что когда подадут бурду, называвшуюся крымским шампанским, президент пошутит о своей будущей профессии: говорил, что после ухода в отставку станет комиссионером по продаже этого дивного вина в Америке и наживет миллионы; при этом все рассмеются, а его улыбка станет еще более чарующей. И затем сам он, Черчилль, скажет, тоже что-либо не менее забавное. В Ялте он не очень старался, — гораздо меньше чем в Вашингтоне или прежде в Париже, — но его остроумие, как когда-то остроумие Клемансо, было так известно, что лишь только он за вином открывал рот, англичане и американцы всегда улыбались в кредит; русские же оглядывались на Сталина, можно ли улыбаться (почти всегда оказывалось, что можно и должно). Впрочем, большая часть времени за столом проходила в молчании: произносились тосты, их всегда бывало много, в промежутках же между тостами все ели не разго-

варивая. Еда была превосходная. Не только англичане, но и американцы такой у себя дома не видели. Тем не менее им молчать было довольно тягостно. Одни русские делегаты нисколько молчанием не тяготились и могли бы, повидимому, так за столом просидеть и шесть и двенадцать часов.

Приятнее завтраков и обедов были экскурсии в достопримечательные места Крыма. В последний раз на поле сражения при Балаклаве кто-то давал исторические разъяснения. Было показано возвышение, с которого лорд Раглан послал лорду Нолану приказ атаковать русскую армию. Приблизительно было указано место, откуда по недоразумению пошла в знаменитую самоубийственную атаку кавалерийская бригада графа Кардигана. — «Вперед, последний из Кардиганов!» — напомнил негромко, без улыбки, кто то из англичан. Другой, тоже без улыбки, процитировал Теннисонову поэму, известную на память всем англичанам старшего поколения и уж, конечно, всем офицерам:

„Forword, the light Brigade"! Was there a man dismay'd? — Not iho' the soldier knew.— Some one hat blunder'd.— Theirs not to make reply, — Their's not to reason why, — Their's but to do and die' — Into the valley of Death — Rode the six hundred”...

Все эти лорды, даже те, о которых в поэме было сказано: „Some one had blunder'd”, были е го люди плоть от его плоти. Он сам в 70 лет в любую минуту с готовностью, с восторгом пошел бы для своей страны в безнадежную кавалерийскую атаку. В действительности же его роль в эту войну частью заключалась в том, чтобы противодействовать всяким английским наступлениям. Он долго вел открытую и глухую борьбу против установления второго фронта в Европе; чувствовал на себе очень тяжелую ответственность за жизнь британских солдат:

если б Англия потеряла миллион людей, с ней, он понимал, неизбежно должно было случиться то, что случилось с Францией после первой войны. Несмотря на братство по оружию, на лояльность и на fair play, он не мог так относиться к жизни русских, которых было много, очень много, — и в конце концов не все ли им равно? Разве у н е г о не погибают без войны миллионы людей в его концентрационных лагерях?

Циничные мысли никогда не приходили ему в голову на фронтах и лишь изредка в рабочем кабинете. Но на международных конференциях они им овладевали совершенно. В Ялте происходило что-то странное: Сталин уступал и уступал. В этом тоже было что-то из поэмы:

„Cossack and Russian-Reel from the sabre stroke —
togatter'd and sunder'd. Then they rode back, but not, —
Not the six hundred”.

Но Черчиля все больше тревожила благодушная, приятная усмешка, часто игравшая на лице Сталина. Маршал никогда не горячился, речей не произносил и очень охотно на мгновение соглашался. Несмотря на весь свой ум, познания и опыт, Черчилль не был свободен от того, что называется профессиональной деформацией: он верил, — не очень верил, но все-таки верил — в документы на веленовой бумаге с ленточками, которые при свете магния, под общий восторг, подписывают государственные люди золотыми перьями, переходящими потом в музей.

В зале с потолком точеного дерева, украшенной воронцовскими гербами, уже собрались англичане. Это были также свои люди, хоть несколько по иному свои, чем Кардиганы. Он ставил их не слишком высоко, однако любил их. Особенно приятен был Иден, считавшийся его наследником. Историческая конкуренция с ним была не страшна, он был умный образованный, ве-

сельный человек, с которым при случае можно было поговорить о литературе, о живописи (с другими было бы совершенно невозможно). Приятен он был и своим внешним обликом: Иден умел быть необыкновенно элегантным даже тогда, когда носил старый, потертый, если не перелицованный, костюм. Это забавляло Черчиля. Сам он от своей природной среды несколько отстал и часто в ней скучал, хотя это были свои; ни о какой элегантности он больше и не думал; тем не менее знатоки замечали и старались усвоить небрежность его костюмов, галстуков и особенно шляп.

По некоторым, им одним известным признакам, англичане тотчас заметили, что старик в хорошем настроении духа, и оживились. Они между собой нередко его критиковали, роптали и жаловались, но в душе его обожали. Он был национальный герой, великий человек, автор шекспировских речей, которые должны были навсегда войти и уже входили в хрестоматии. Кроме того он был внуком седьмого герцога Марлборо. Все они принадлежали, кто по рождению, кто по положению на службе, к высшему обществу и, вероятно, удивились бы или даже рассмеялись, если бим сказали, что происхождение старика имеет для них какое бы то ни было значение. Однако они были англичане.

В столовой один за другим появлялись американские делегаты: не свои, но тоже в большинстве приятные люди. Вошел генерал Маршалл, менее приятный, чем другие. Он расходился с Черчилем во многих основных вопросах и видимо никак не думал, что „their's not to make reply, their's not reason why“: был своеобразно умный человек, как бывают умны офицеры генерального штаба, когда они очень умны. Таков был на его памяти маршал Фош, таков был адмирал Фишер, с которым у него были связаны неприятные воспоминания по той

войне. Черчилль умом знал, что нельзя окружать себя поддакивающими, на все тотчас соглашающимися сотрудниками; но слишком независимые люди его часто раздражали.

Офицер, поспешно вошедший в столовую, сообщил, что подъезжают автомобили Сталина. На лице у старика расплылась радушная улыбка. Он направился в холл.

Президент знал, что жить ему осталось очень недолго. Врач его успокаивал; но ему говорило правду выражение ужаса на лицах людей, долго его не видевших. Уверенность в близком конце резко отличала его от всех других участников ялтинской конференции. Отличала от них и вера. Между другими делегатами было много верующих людей; сам Черчилль обиделся бы, еслиб его причислили к безбожникам. Но их религия не имела никакого отношения к их работе: то — одно, это — другое. У него же какая то связь между верой и работой была; правда, неполная, непостоянная, неровная, — об этом он думал с душевной болью.

Для себя Рузвельту желать было нечего: он достиг в жизни всего, чего мог достигнуть. Ни один человек в истории не занимал так долго, как он, должности президента Соединенных Штатов, и лишь немногие доживали до такой славы. Власть досталось ему в пору тяжелого хозяйственного кризиса, при нем Соединенные Штаты достигли благосостояния невиданного и неслыханного в истории. Не могло быть теперь и сомнений в полной победе над Гитлером. Как умный человек, не страдающий манией величия, президент не приписывал этого себе, но знал, что в случае неудач и поражений главная доля ответственности была бы возложена на него. Врагов у него было без счета, — лишь немногим меньше, чем было у Линкольна, гораздо больше, чем было у Вашингтона. Он предполагал, что после его смерти ему

отдадут должное и враги. Дела в Америке он оставлял в порядке, поскольку могут быть в порядке дела какой бы то ни было страны при каком бы то ни было правительстве. Выборы сошли отлично. Его военные назначения — Маршалл, Айзенхауэр, Нимиц, Мак Артур — оказались превосходными. Все это должна была признать история.

В мире же дела шли не так хорошо, и он думал, что после него пойдут еще хуже. Однако Рузвельт был в душе уверен, что позднее все устроится как следует. Совсем как следует дела, правда, устраивались редко, но можно было рассчитывать, что люди в конце концов поумнеют. Для улучшения дел в мире следовало теперь же, при его жизни, установить добрые отношения между Россией и Англией. Президент действительно вошел в роль третейского судьи между Сталиным и Черчилем.

Сталин ему при первом знакомстве понравился. Как все красивые люди, Рузвельт о каждом человеке бессознательно судил и по наружности. У маршала было значительное лицо. Ему, повидимому, было чуждо актерство, он всегда был прост, важен и ясен. Президент очень ценил эти свойства в людях. Сталин вышел из низов и Рузвельт предпочитал простых бедных людей богатым и высокопоставленным: простые обычно, как люди, лучше и чище. После Тегеранской встречи он больше почти не верил тому, что писали, говорили, докладывали о Сталине: если у него у самого было так много врагов, то насколько больше их должно было быть у маршала. Не очень верил он и прежним сообщениям о жизни русского народа. «Еслиб все было так, то этот строй не мог бы существовать». При проезде по большой дороге в Юсуповский и Воронцовский дворцы он за кордоном видел толпившихся людей, они были, правда, плохо одеты, но вид у них был как будто довольный и радо-

стный. Все снимали шапки. «А если я и ошибаюсь, то что же я могу сделать? Это не мое дело, это дело маршала...» В каждом человеке, следовательно и в Сталине, можно было пробудить лучшие чувства. Рузвельт иногда говорил об этом Черчилю, и у того на лице тотчас появлялось выражение беспредельного уныния и скуки. Но президент презирал мудрость скептиков: они кажутся умными, а на самом деле понимают в жизни мало.

Конечно, Черчилль, был очень выдающийся человек. Однако в нем слишком прочно засел гусарский поручик, политик отжившей школы и внук седьмого герцога Марлборо. Рузвельт привык к тому, что его самого считали аристократом, никогда аристократизмом не хвастал и почти никогда им не гордился: он всегда был прост и ровен в обращении с людьми. Он догадывался, что Черчилль в своем кругу может думать о его американском аристократизме, если вообще об этом думает. Но это не раздражало его, а скорее забавляло. Гораздо хуже было, что Уинни по складу своего ума, часто даже по образу мыслей напоминал первого герцога Марлборо. Людям, верящим в военное могущество, в неизбежность войн, в европейское равновесие, было больше нечего делать в политике. Не очень хорошо было в Черчиле и то, что он слишком много писал и дорожил своей литературной известностью. Президент порою себя спрашивал, в каком виде Уинни его изобразит в своих мемуарах. «Вероятнее всего с чуть заметной иронией. А может быть, захочет до конца проявить верность соратнику». Сам он писать не любил, теперь твердо знал, что не успеет написать воспоминания, это порождало в нем чувство незащитности перед историей. В душе он был так же уверен в своем превосходстве над Черчилем, как Черчилль был уверен в своем превосходстве над ним. И

несмотря на их расположение друг к другу, между ними установилось нечто вроде исторического соперничества. Вдобавок, по мнению экспертов, интересы Англии и Америки кое в чем расходились. Президент не очень верил экспертам, но должен был прислушиваться к ним. Его избрали не президентом мировой республики, а президентом Соединенных Штатов, — для того, чтобы он защищал их интересы.

Со Сталиным никакого личного соперничества не могло быть: он был человек совершенно другого мира. Что до русских и американских интересов, то даже самые глубокомысленные и ученые советники не могли (хоть старались) выяснить, в чем именно эти интересы расходятся и почему до сих пор, за полтора века, ни в чем особенно важном не расходились. Кроме того, эксперты были не совсем между собой согласны в истолковании интересов России и целей Сталина. Одни в тесном кругу говорили, что дядю Джо просто узнать нельзя, и ссылались на его церковную политику, на поощрение национального чувства, на ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова. Некоторые эксперты, по благодушным наблюдениям президента, даже немного щеголяли: знают и кто Александр Невский и кто Суворов (о Кутузове знали и не-эксперты: все в 1942 году прочли «Войну и Мир»). Другие же советники с сомнением качали головой: уж будто бы дядя Джо так-таки вдруг совсем, совсем переменялся? Первая партия была сильнее, так как все чувствовали, что президент склоняется к ней. На него же особенно действовали сообщения о новом отношении маршала к религии. Впрочем, Рузвельт редко высказывался вполне определенно и выслушивал все мнения со своей неизменной благосклонностью к людям, вниманьем к их взглядам и труду, с обычной быстротой понимания. Он взвешивал все наедине в бес-

сонные ночи и размышлял о том, какую политику вести в оставшиеся ему последние месяцы — или недели — жизни. В Ялте он все больше склонялся к мысли, что дела в мире пойдут хорошо. Но иногда президент за столом бросал взгляд на Сталина и на него находили сомнения: что, если Уинни прав?

Автомобиль остановился перед подъездом Воронцовского дворца. Два человека отворили дверцы, осторожно взяли его под руки и помогли ему взойти по лестнице. Несмотря на долгую привычку, это ему всегда было тяжело. Он не мог понять, за что так внезапно, так случайно, из за какого то купанья стал беспомощным, безнадёжным калекой. Газеты, особенно иностранные, плохо знавшие, как он связан в Вашингтоне тысячей сил и влияний, часто называли его могущественным человеком на земле. Эти слова, обычно приятные и лестные, в такие минуты вызывали у него горькую усмешку, Помогавшие ему люди, внимательно за ним следившие, остановились после нескольких ступенек. Он постоял с минуту, тяжело на них опираясь, полуоткрыв рот: по дороге простудился и страдал от синусита и от усилившихся головных болей. Залитый солнцем сад, море, горы были невообразимо прекрасны. Он знал, что больше никогда этого не увидит. Это уже было прошлое. Скоро должно было стать прошлым все остальное. Тем более было необходимо работать на пользу людей. Еле заметным движением локтя он велел идти дальше. Двери уже растворялись настежь.

Сбоку один за другим отходили советские автомобили. Маршал, обычно приезжавший последним, на этот раз прибыл раньше его. Он как раз в холле здоровался с Черчилем. Оба ласково, приветливо улыбались, крепко пожимая друг другу руки. Как всегда, это позабавило Рузвельта. Он знал, что они ненавидят друг друга.

Условность человеческих отношений порою удивляла его так, точно он видел ее в первый раз в жизни. На его лице тотчас появилась чарующая улыбка. — «Хелло, Уинни!» — еще издали радостно воскликнул он, — «Хелло, маршал!» (Сталина он все-таки называл Джо лишь за глаза). — «Здравствуйте, маршал,» — разъяснил переводчик.

Маршал тоже приветливо помахал ему рукой, быстро подошел своей крепкой, тяжелой, чуть нескладной походкой и дружески пожал ему руку. Затем учтиво, но нисколько не притворяясь светским человеком, с кавказской важностью поздоровался с дочерью президента

Несмотря на серьезное выражение его лица, многое было ему забавно в Ялте. На конференции всегда приезжали враги: это он знал твердо, это было, собственно, даже единственное, в чем он не сомневался. Опаснейшим врагом был Черчилль, но его страна была теперь не так страшна. Менее опасным врагом был президент, зато мощь Соединенных Штатов была очень велика. Сталин, по правилу, не верил ни одному слову из того, что оба они говорили, и в каждом их предложении искал затаенный смысл: очень редко не находил и тогда испытывал некоторую тревогу; в громадном же большинстве случаев находил тотчас и тогда успокаивался. Разгадывать и расстраивать чужие козни было для него давним, обычным, привычным делом. К этому собственно и сводилась большая часть его умственной работы в жизни. От природы он был очень умен и особенно хитер. Жизненный опыт у него был огромный. В последние тридцать лет он был окружен смертельными врагами, подозревал врагов во всех людях, даже в приближенных, — особенно в приближенных, — и хорошо научился распознавать оттенки в тайных вражеских чувствах.

Здесь на конференции ему был вполне понятен оттенок Черчиля; оттенок же президента еще не вполне выяснился. И лишь чрезвычайно редко Сталину приходила в голову непривычная, невероятная, невозможная мысль: вдруг этот американец действительно верит и тому, что сам говорит, и даже тому, что ему говорят другие! Тогда это было уж совсем забавно.

Из мелочей же его веселило, что оба гостя пожаловали в Ялту с дочерьми, которые тут были решительно ни для чего не нужны, кроме завтраков и обедов, да собственно не нужны были и для этого. Они приехали очевидно потому, что отцы не могли им отказать в новом развлечении. Он ничего не имел против их присутствия, хотя ему самому никак не могло бы прийти в голову привезти на международную конференцию свою дочь. Ничего не имел и против других собравшихся здесь людей, кроме Черчиля, которого терпеть не мог (из иностранцев, быть может, ненавидел только его). Однако теперь с Черчилем ничего никак сделать было нельзя, а потому и ненависть к нему не имела значения. Другие же гости были скорее приятные люди, с которыми можно было посидеть за столом, выпить вина, поговорить (если б без переводчика). Дальнейшее всецело зависело от обстоятельства. Приятные люди, и даже еще гораздо более приятные, были Бухарин, Рыков, Карахан; с ними он тоже когда то охотно болтал и пил вино.

Вокруг него — однако на некотором расстоянии сзади — стояли члены русской делегации, ловившие выражение его глаз, — он часто беспокойно оглядывался (лицо его обычно ничего не выражало). Все эти люди были пока преданы. Дальнейшего же и тут нельзя было предвидеть, оно также зависело от обстоятельств. Он улыбнулся и выразил опасение, как бы гости не увезли с собой из России хорошую погоду. И тотчас ве-

село улыбнулись Молотов, Вышинский, Майский, Гусев, Громыко, адмирал Кузнецов, маршал Худяков и генерал Антонов.

6.

Марья Игнатьевна, как всегда, прекрасно справилась с работой. Приехавшие из Москвы люди выразили декораторам благодарность, что-то приятное было сказано и о ней, она была очень довольна. Однако с квартирой вышла неожиданность. Хотя Иван Васильевич тоже закончил работу во время, ему велено было оставаться в распоряжении его комиссии: в будуаре царицы, отведенном адмиралу Кингу, снова появились вши. Он написал Марье Игнатьевне отчаянное письмо, просил прощения и выражал готовность ночевать хотя бы на улице. Она была недовольна, но ответила любезно: «Вышедшая неувязка не имеет значения, голубчик» (в письмах его не называла «Ваше сиятельство»), меня отсюда не гонят, живу я от лордов далеко, хоть три года скачи, не доедешь, по бессмертному выражению Гоголя, так что я могу оставаться и при лордах, которые, вдобавок, и не подозревают о моем существовании. По вечерам гуляю в садах. Ох, хороши лунные вечера! Страшно жаль, что ни разу не удосужились приехать, но не беспокойтесь и оставайтесь у меня сколько понадобится. Я вам говорила и повторяю: будьте как дома».

В Алушке в самом деле было очень хорошо. Тем не менее, после окончания работы и отъезда других декораторов, ей стало скучно. В местном партактиве интересных, свежих людей не оказалось. Она посетила местный молодежный коллектив и даже прочла там небольшую лекцию, но ушла расстроенная. Говорила она хорошо, употребляла самые новые выражения, однако,

чуть не в первый раз в жизни почувствовала себя чужой. Молодые люди выслушали ее лекцию внимательно, с любопытством задавали вопросы, интересовались и Рембрандтом, и особенно Бродским, за чаем тоже были, как умели, вежливы, но в их вежливости и почтительности было что-то больно задевавшее Марью Игнатьевну. Со своими девицами они разговаривали совершенно иначе. «Неужели я для них старуха?» — с тревогой спрашивала себя Марья Игнатьевна, поднимаясь к своему флигельку.

Эта мысль была ей особенно тяжела в одиночестве Алупки. Готовясь к лекциям на тему «Разложение западно-европейской культуры в свете современной живописи», она взяла с собой несколько художественных изданий и три тома сочинений Сталина. Но работать ей не хотелось. Думала о своей жизни, о будущем, об Иване Васильевиче. Он был, очевидно, влюблен в нее и боялся ей об этом сказать из-за своего возраста. «Конечно, это был бы мезальянс» — подумала она с улыбкой: так неожиданно всплыло вдруг в ее памяти это слово из старых книг. «Мезальянсом» был и ее брак с тем красивым молодым человеком, из которого ничего не вышло. Этот молодой человек, в отличие от Ивана Васильевича, не был джентльменом, — почему-то ей все лезли в голову старые, почти контрреволюционные слова. Марья Игнатьевна чувствовала себя одинокой. Ей многие завидовали, находили, что она ведет интересную жизнь. Она знала самых выдающихся людей ялтинского партактива, читала публичные лекции в Николаеве, ее честолюбие было удовлетворено. «Он старше меня на шестнадцать лет, но он прекрасный человек, он умнее и тоньше всех их, несмотря на свои отсталые взгляды». Когда она называла Ивана Васильевича «Ваше сиятельство», то бессознательно

вкладывала в это другой, переносный смысл, как бы относившийся к тому, что в старых книгах называлось духовным аристократизмом. Физически он не был ей неприятен, скорее напротив. В сущности самым неприятным была его профессия.

Вместо сочинений Сталина она, чтобы заснуть, стала в кровати просматривать номер парижского журнала мод, оставшийся в ее флигеле от убитого немецкого офицера. Его предложил ей заведующий, холостяк. — «Помилуйте, зачем мне это?» — пренебрежительно сказала она, — «разве просмотреть на сон грядущий?» Женщины, раскрашенные и не раскрашенные, серьезные и улыбающиеся, надменные и ласковые, их платья, костюмы, шубы, муфты, шляпы, все свидетельствовало о падении западно - европейской культуры. Ей бросился в глаза заголовок: «Революция». Марья Игнатьева немного знала иностранные языки и читала ученые книги легко.

„Les rembourrages ont vecu. Les hanches de l'importance. Beaucoup protestent. A chaque fois que s'affirme une idée nouvelle, il des grincheux pour s'ecrier que cela ne durera pas. Non Mesdames, ne vous trompez pas. Celles qui ont souffert — effacement de formes jusqu' au martyre — seront avec nous passionement. Oui, hanches carrées ou rondes, décolletes généreux ligne en figure de proue, tissus brillantes et majestueux, la gamme des tons — doux, puis soudain éclatants, va du gris élégant en vert mousse, du enivre au vermillon”.

Молодая красавица в отороченном мехом костюме стояла на лестнице, поставив ногу на ступеньку. Передний изгиб ноги, туфли, чулки, шляпа, тоже отделанная чернобурой лисицей, были все-таки очаровательны. «Конечно, это они приукрашивают», — думала Марья Игнатьевна. Под фамилией портного (его имя было из-

вестно дамам даже в Крыму) была надпись: „Redingote á la Russe. Modèle Tolstoi”. Над рисунком кто-то выцветшими чернилами написал: *Liebes Schätzchen, es ist herrlich! Diese Franzosen. Das muss mir ja so wunderbar stehen. Ganz wie für mich gemacht!* — «Осталась жена Фрица и без редингота, и без Фрица» — подумала Марья Игнатьевна, впрочем без злобы, точно чувствовала себя в эту минуту членом дамского Интернационала. — «Нет, он прекрасный, благороднейший человек. Конечно, его надо будет приодеть. Ах, еслиб он все-таки был немного помоложе: ну хоть сорок девять, а не пятьдесят пять. И если бы не эти виноградные блошки»...

Вдруг ей пришло в голову, что собственно говоря, она может вернуться в Ялту и теперь. При ее комнате была большая кухня, в которую можно перенести диван. Они бы могли, таким образом, пробыть несколько дней вместе. «Никто ничего не может сказать, все знают, как было дело. Да и пусть говорят что угодно... Бедный, он очень смутится, но страшно обрадуется... А вдруг в самом деле построить нашу жизнь на пару?» — с лукавой улыбкой подумала она: как раз за чаем молодежного коллектива, впервые, услышала это новое выражение.

Лукавая нежная улыбка не сходила с ее лица и на следующее утро, по дороге в Ялту. Марья Игнатьевна предполагала, что его не будет дома, что он вернется через час. Собиралась накрыть стол новенькой шитой скатертью, поставить свой маленький чистенький самовар, достать ром, который он очень любил. Она отворила дверь, вошла и ахнула: — «Господи, Твоя воля!» — сказала она вслух, на этот раз не новым выражением.

Иван Васильевич никак не думал, что Марья Игна-

тьевна может нагряться неожиданно, без предупреждения, не знал даже, что у нее есть второй ключ. Он все время относился к ее квартире бережно, чтобы, избави Бог, ничего не разбить и, действительно, не разбил ничего. Правда, ему самому иногда казалось, что при Марье Игнатьевне квартирка была как будто нарядней и уютней; но он перед отъездом собирался произвести уборку и привести все в прижний вид.

Она заглянула в кухню, в корридор, всюду, вернулась и села на стул, сняв с него блюдечко с окурками. Ей хотелось плакать. «Глупо... Из-за квартиры... Все было вздор, он мне не пара, он на двадцать лет старше меня... Что ему сказать, если он сейчас вернется?.. Нет, не надо, чтобы он знал, что я здесь была... Я сама виновата»... Она подумала, не взяться ли сейчас же за работу. Однако привести квартиру в порядок нельзя было ни в час, ни в три часа, и ей все-таки не хотелось, чтобы он ее застал в грубом заштопанном фартуке со щеткой и ведром. Не хотелось, несмотря на раздражение, и смущать его: понимала, что он сконфузится необычайно. «Нет, пусть он лучше не знает. Когда он съедет, найму двух татарок».

На столе лежала развернутая газета с крошками хлеба и колбасы. Не прикасаясь к ней, Марья Игнатьевна пробежала заголовки: «Отличник тракторостроевец Черемченко»... «Сделаем Челябинск благоустроенным городом»... «Воскресники в Полтавской области»... Она вдруг заплакала — без всякой причины.

Вышла из квартиры, не оставив ему никакой записки. «Когда увидимся, поговорим, посмотрим... Ничего, перееду в Николаев, там все пойдет по другому. Война кончается, вернутся новые, свежие, интересные люди. Ясно!» Ясно не было, было скучно, очень скучно.

Позднее Иван Васильевич пытался литературно описать в дневнике чувства, испытанные им в тот день. Запись все ему не удавалась. Написал сначала, что у него помутилось в глазах. «Кажется и в самом деле помутилось? А впрочем едва ли. Сердце забилося, пальцы затряслись, это». Зачеркнул и написал, что в душе его что-то запело, потом вместо «запело» написал «засветилось». Это было хорошо в литературном отношении, но не выражало того, что он почувствовал. «Два слова: «не злокачественная» были точно отбиты на машинке огненными буквами», — еще написал он. Несмотря на огненные буквы он все боялся, что не разобрал, не разглядел, не так прочел. Подошел к окну (день кончался): «не злокачественная». Зажег люстру на все три лампочки (три другие включались у Марьи Игнатьевны лишь на приемах): «не злокачественная». Подошел к ночному столику, зажег еще лампу с сиреневым колпачком: «не злокачественная». Он опустился на кровать, вспомнил об уговоре, вскочил, расправил сиреневое одеяло. Вид этой кровати немного волновал его, первые дни он отводил глаза. Теперь подумал о Марье Игнатьевне с восторгом. Ему казалось, что все совершенно изменилось. «Отпало главное препятствие! Отпало! Сегодня же ей все скажу!»

Взглянул на ее будильник, шедший с совершенной точностью, не то, что его часы. Татарин должен был захватить за ним через час, чтобы отвезти его в Алупку: он хотел узнать о своей сакле и условиться о дне возвращения Марьи Игнатьевны. И как раз пришла эта бумага от доктора (который ее продержал у себя несколько дней). Иван Васильевич за свой восторг ругал себя трусом, старой бабой, но и ругать себя теперь было ему

очень приятно. «Выпить! Сейчас же выпить! Крепко выпить! Будь она хоть разопухоль, если не злокачественная!»

Пустой «Гектор Сервадак» остался в Алушке. Здесь он держал деньги просто под настольной лампой: в Ялте у него никто не бывал, а забравшийся вор уж никак не мог бы предположить, что гражданин в здравом уме и твердой памяти держит деньги не под замком. Он сунул в карман все, что имел, и выбежал на улицу. У Марии Игнатьевны были в буфете и ром, и рябиновка, она просила его пользоваться ее продуктами, как своими; но он за все время позаимствовал у нее лишь в первый день несколько кусков сахара, — забыл привезти свой, — да и сахар давно вернулся.

Начинался чудесный, совсем весенний теплый вечер. С моря дул ветерок. В булочной давно пахло свежее выпеченным хлебом. Он почувствовал сильный голод, — все три недели никакого аппетита не было, что тоже казалось ему безошибочным признаком рака. Съестных припасов в лавках было мало, Иван Васильевич купил все, что мог достать самого дорогого. — «Нет ли икры? — «Икры, гражданин, нет: Гитлер всю слопал», — насмешливо сказал приказчик. По дороге он потерял пакетик с огурцами. Прежде пришел бы от этого в отчаяние, теперь даже не вернулся в магазин справиться. Купил водку, две бутылки вина. Выплеснул дома из стакана оставшийся с утра чай, налил водки, с наслаждением выпил, налил еще, с жадностью ел прямо с бумажек. Ему всегда казалось, что есть, если не пить, приятнее одному, чем в обществе.

«Не понимают люди, что такое счастье и как мало для него нужно. Счастье, это когда нет рака, и этого достаточно! Водка есть? Вино есть? Колбаса есть? А это раз в неделю может себе позволить и жалкий эк-

стерминатор... Мы, русские, даже слова не придумали для такого занятия: мало, низко, непривлекательно! Но если строят новую жизнь, то ведь надо же раньше вывести вшей. И всем им, господам строителям, маршалам, президентам, министрам, понадобился экстерминатор Иван Васильевич! А может быть и вообще моя работа лучше и чище ихней! Я ведь никому не делаю вреда, кроме виноградной блошки. Они распоряжаются моей жизнью, а она все же от них зависит меньше, неизмеримо меньше, чем от этой маленькой опухоли, которая оказалась не-злокачественной и которая скоро пройдет... Да, проходи, голубушка: если ты не-злокачественная, то грош тебе цена, не задерживайся, не будь «задавакой», проваливай подобру-поздорову!.. Счастье же мое зависит тоже не от вас, господа строители, а больше всего от Марьи Игнатьевны, и она мне не откажет. Если же откажет, то останутся море, и горы, и луна, и сады, работа, и книги, с ней мы все-таки останемся друзьями и нынче же вечером пойдем смотреть издали на тех странных символических львов! Да, господа строители»... Он пил стакан за стаканом.

Старый татарин застал его уже пьяным. Иван Васильевич обнял его и закричал: «Ты человек, я человек, мы оба маршалы! Ты извозчик, я экстерминатор, два сапога пара! Пей, извозчик! Экстерминатор угощает!» Татарин отказывался, ссылаясь на свою веру. — Предразсудок! Пережиток! — кричал Иван Васильевич, — «Ты уже поломался сколько твоя вера требует, теперь пей! Извозчик пьет у экстерминатора! Exterminare-глагол... Какого спряжения, а? Я, брат, в университете

учился, знаю традиции Грановского! Пей! Сам Магомет был не дурак выпить и за гуриями поухаживать!» Татарин не рассердился: плохо понимал и всегда относился к пьяным с дружелюбным любопытством.

— Пил, кушал, благодарил. На саше поехал, — сказал он, когда ни в бутылках, ни на сальных бумажках больше ничего не оставалось. Он так говорил собственно больше потому, что русские так воспроизводили русскую речь татар. — «Дверь не закрывал, дурак», — сказал он на площадке, — «в Ялте не закрывал дверь! Американский президент приходил и часы украл!» — пошутил татарин. Иван Васильевич хлопнул себя по лбу, обнял татарина и затворил дверь двойным поворотом ключа.

Проходившая по дороге громадная солдатка с винтовкой заорала на них: «Гайку у вас, скаженные, ослабило на людей наезжать!» — «Гражданка солдатка, я не скаженный, а гражданин-экстерминатор!» — закричал Иван Васильевич. Увидев, что кацап пьян, солдатка тотчас смягчилась и сказала им, чтобы на шлях и не пробовали выезжать: сам Сталин едет! Татарин тотчас осадил лошаденку.

На повороте их действительно не пропустили, но издали они видели, как по большой дороге один за другим бешено неслись автомобили с яркими страшными фонарями. «Проехал!» — радостно - тревожно сказал стоявший впереди на арбе человек, с широкой улыбкой на них оглядываясь. — «Проехал, коллега!... Экстерминатор проехал!» — закричал Иван Васильевич. Старый татарин с силой толкнул его в спину. — «Молчи дурак! Большой дурак!» — вполголоса испугано говорил он.

Огни каменной громады отсвечивались в тяжелых черных волнах. К тому флигелю, где жила Марья Игнатьевна, можно было пройти, минуя кордон. Иван Васильевич, протрезвившийся, смущенный, но радостный, поднимался с террасы на террасу, все себя спрашивая, можно ли к ней идти в десять часов вечера. Кроваво красная луна освещала кипарисы, магнолии, лавры. С моря дул ветерок.

И откуда, откуда тот ветер летит,
 Что стряхая росу, по цветам шелестит,
 Дышит запахом лип и концами ветвей
 Помахая, влечет в сумрак влажных аллей?
 Не природа ли тайно с душой говорит?
 Сердце ль просит любви и без раны болит?
 И на грудь тихо падают слезы из глаз....
 Для кого расцвела? Для чего развилась?

«Да может ли она «слышать голос души?» Или вернее осталась ли у них всех душа?» — нерешительно думал Иван Васильевич, проходя мимо тех львов, которых называл символическими. Мраморные статуи изображали разные моменты из жизни льва: лев спит, лев просыпается, лев рычит, лев готовится к прыжку. «Да, за все бывает расплата, кроме того, за что расплаты не бывает. В известном смысле, может быть, когда-нибудь зарычит и наш лев. Это я лев, и татарин, и мы все!.. Но довольно с меня львиных прыжков: видел я их и будет, что уж тут хорошего?.. Нет, конечно, нельзя сказать, будто меня не касается то, что делается во

всех этих и других дворцах. В известном смысле даже очень касается: немцев то, слава Богу, придушили. Но нас никто не освободит, никого мы не интересуем, ни от кого нечего ждать и нам, забытым маленьким старым людям, и тому новому народу, который живет на нашей земле, дай Бог всякого счастья... А я, грешный, буду видно и дальше жить, как жил: буду работать, пить по вечерам наливку и любоваться этими волшебными садами».

Он издали увидел два уютных огонька в ее флигеле. Сердце у него забилося. Подумав, он решил отложить разговор до своего возвращения в саклю после окончания работ конференции.

